

Э. Шрайбер
Хроники возвышения:
ПОГРЕШНОСТЬ



18+

Э. Шрайбер

**Хроники возвышения:
Погрешность**

«Автор»

2026

Шрайбер Э.

Хроники возвышения: Погрешность / Э. Шрайбер — «Автор»,
2026

В прошлой жизни я был инженером. Я знал, что у всего есть причина: если конструкция рушится, значит, кто-то не учёл нагрузку. Если прибор врёт — значит, есть погрешность, и её можно найти. Я умер и родился заново — в мире, где сила приходит через восемь врат, открывающихся в теле человека. И столкнулся с задачей, которая не решается методом. Мои вторые врата открыты. Первые — нет. Так не бывает. Никто не знает почему. Я считал попытки. Сто сорок четыре. На сто сорок пятой всё изменится — только совсем не так, как я рассчитывал.

Содержание

Глава 1. Мастерская	5
Глава 2. Дом	10
Глава 3. Серый парус	13
Конец ознакомительного фрагмента.	17

Э. Шрайбер

Хроники возвышения: Погрешность

Глава 1. Мастерская

Дерево не любит, когда его торопят. Об этом мне сказали в первый же день — не как совет, а как факт, вроде того, что вода мокрая, а зима холодная, — и я потратил два года на то, чтобы понять, что это не метафора.

Сосновая распорка в моих руках была почти готова. Почти — то слово, из-за которого Брин мог молча забрать работу и переделать за ночь, ничего не объяснив, а утром просто положить рядом две распорки: мою и свою, — чтобы я сам нашёл разницу. Я нашёл её на третий раз. С тех пор проверял вслух, костяшкой по волокну, слушая не ушами даже, а чем-то ниже — тем местом в теле, которое отзывалось на плотность так же, как раньше, в другой жизни, отзывалось на цифры в отчёте о нагрузках. Звук был низкий, ровный, без сипения на изгибе. Годится.

За окном мастерской фьорд ещё не решил, какого он сегодня цвета — серого, как обычно, или того редкого свинцового с прожилками, какой бывает перед снегом. Я поставил распорку в ряд с остальными и потянулся за следующей заготовкой, когда скрипнула дверь и вместе со сквозняком внутрь ввалился запах мокрой шерсти и трески.

— Брин на месте? — спросил вошедший, не глядя на меня, будто мастерская была пуста, а я — частью инвентаря, вроде верстака.

Я привык. Не то чтобы это переставало царапать — просто царапина стала фоном, как шум прибоя, который перестаёшь слышать через месяц жизни у воды.

— В заднем помещении, — сказал я. — Заперт с материалом. Выйдет, когда закончит мерить.

— А ты, значит, здесь один остался?

В вопросе была форма, но не было содержания — как в письме, где вежливое приветствие написано только потому, что так положено, а не потому, что автору есть что вежливо сказать. Я мог бы ответить как угодно, и это ничего бы не изменило.

— Я всегда здесь, — сказал я. — Это мастерская. А я подмастерье.

Он хмыкнул — тем особым звуком, которым в посёлке обычно снабжали любое упоминание меня, звуком где-то между "ясно" и "ну и ладно", — и сел на скамью у стены, всем видом показывая, что подождёт настоящего мастера, раз уж выбора не осталось.

Я не обиделся. Обижаться на закономерность так же бессмысленно, как обижаться на то, что дерево тонет в направлении, куда его тянет вода. Я вернулся к заготовке.

Брин вышел через четверть часа — вытирая руки тряпкой, которая явно видела лучшие века, чем нынешний, — и, не здороваясь, посмотрел сперва на распорки в ряду, потом на меня, потом уже на гостя.

— Ольгерд. — Он произнёс имя как диагноз. — Опять сундук?

— Опять сундук, — подтвердил гость мрачно, будто речь шла о старой ране, которая ноет к непогоде. — Скрипит. Третью ночь скрипит, и жена говорит, что это неспроста.

— Неспроста, — согласился Брин, забирая у него из рук предмет обсуждения — окованный сундук, судя по виду, доставшийся Ольгерду ещё от отца, — и поставил на верстак рядом со мной. — Стейн, глянь.

Это тоже было частью метода: не "покажи мне, что ты знаешь", а "покажи, что знаешь, при свидетеле, который в этом ничего не смыслит и потому не сможет соврать себе о результате". Я откинул крышку, провёл ладонью по внутренней стороне, где дерево темнее — там, где не выцвело от света, — и постучал по дну в трёх точках.

Звук был разный. Не намного, но разный.

— Дно рассохлось у левого угла, — сказал я. — Видите зазор между доской и оковкой? На палец. Влажность фьордов и сухой воздух дома — дерево гуляет туда-сюда весь год, а окантовка не гуляет вовсе, она железная. Каждую ночь, когда в доме остывает очаг, дерево немного сжимается — и скрипит там, где трётся о металл.

Ольгерд посмотрел на меня так, как смотрят на говорящую утварь — с недоверием, но и с некоторым уважением к самому факту, что утварь заговорила по делу.

— То есть это не... — он сделал неопределённый жест рукой, будто рисуя в воздухе что-то среднее между призраком и морским демоном.

— Это дерево, — сказал Брин, забирая сундук обратно раньше, чем Ольгерд успел додумать жест до конца. — Дерево скрипит. Оставь до завтра, подгоню накладку — перестанет.

— А жена говорила...

— Жена права, что скрипит неспроста, — сказал Брин с той же ровной серьёзностью, с какой говорил вообще всё, отчего невозможно было понять, шутит он или нет, пока не проходило секунды две. — Спроста ничего не бывает. У всего есть причина. Твоя причина — плохая просушка доски лет пятнадцать назад. Хочешь, найду того, кто её продал твоему отцу, и спрочишь у него лично.

Ольгерд поперхнулся не то смехом, не то возражением, махнул рукой и вышел, бормоча что-то про то, что мастера нынче совсем без уважения к духам дома. Дверь хлопнула. Брин подождал ровно столько, сколько нужно, чтобы шаги стихли за углом, и вздохнул тем особым вздохом, которым обычно завершал разговоры с людьми, свято уверенными, что скрип — это послание.

— Третий сундук за месяц, — сказал он. — Скоро мне нужно будет вешать табличку: "Духов не держим, только влажность".

— Могу вырезать, — сказал я серьёзно. — Готическим шрифтом. С завитушками. Чтобы солиднее выглядело неверие.

Он посмотрел на меня почти удивлённо — не потому что фраза была смешной сама по себе, а потому что я вообще её сказал, — и в уголке его рта что-то дрогнуло, на волосок не дотянув до улыбки. У гномов, кажется, так устроены лица: улыбка требует отдельного разрешения, которое выдаётся редко и не всем.

— С завитушками дороже, — сказал он. — Накину пол-медяка за сложность резьбы.

— Тогда обычным шрифтом. Экономика важнее эстетики.

— Наконец-то ты понимаешь смысл ремесла.

Это и был весь разговор — три фразы, ни одна из которых не значила ровным счётом ничего важного, — но именно из таких трёх фраз, повторённых за два с половиной года сотни раз в разных вариациях, складывалось единственное место в посёлке, где мне не нужно было ничего доказывать. Не потому, что Брину было всё равно, кто я. А потому, что для него я был тем, кем был здесь, у верстака, — а не тем, о ком судачили на причале.

День шёл своим чередом — ровным, почти механическим, если бы механизм умел пахнуть смолой и мокрой стружкой. К полудню я закончил с распорками и перешёл к тому, ради чего Брин вообще стал брать за меня заказы вслух, а не просто кормить из милости к соседской беде: к киль-блоку для лодки Хравна, соседа с северного края посёлка.

Здесь начиналось то, что я так и не научился толком объяснять — ни себе, ни, тем более, кому-то ещё. Дерево под руками переставало быть просто деревом. Не в том смысле, что я видел сквозь него, как видят маги сквозь стену, — ничего настолько драматичного. Просто в какой-то момент, когда пальцы находили нужный изгиб волокна, я знал — не предполагал, не рассчитывал, а знал, как знаешь, что рука — это рука, — где дерево выдержит нагрузку, а где однажды, через год или через десять лет шторма, треснет ровно в этом месте, вот в этом сантиметре, не соседнем.

Брин называл это талантом. Я предпочитал думать о нём как о более честном инструменте измерения, чем те, что у меня были в прошлой жизни, — там мне требовались тензометры, таблицы допустимых нагрузок и вечная поправка на погрешность прибора. Здесь поправки не было. Была уверенность, гладкая и абсолютная, как будто кто-то наконец решил избавить меня от единственной вещи, которую я знал о мире: что любое измерение врёт, просто иногда — не так сильно, чтобы это было заметно.

Это было приятно. Настолько приятно, что я перестал позволять себе задумываться, откуда взялась эта уверенность и почему её нет ни в чём другом.

Я как раз выравнивал последний паз, когда за окном мастерской, со стороны причала, донёлся длинный гудок рога — не тревожный, три коротких и один долгий здесь звучали иначе, — а обычный, тот, каким встречали возвращающуюся с промысла лодку. Хравн, судя по всему,

торопился за своим блоком не просто так: где-то там, у причала, началась обычная посёлковая суэта встречи улова, и через час-другой запах свежей рыбы перебьёт даже смолу.

Я отложил инструмент и потёр запястье — там, где под рукавом пряталась старая бледная отметина, оставшаяся не от работы. Привычный жест, ничего не значащий, если не знать, что он значит.

За соседним верстаком скрипнуло дерево — Брин пробовал на изгиб новую партию досок, — и я вернулся к пазу, потому что дерево, в отличие от людей, никогда не ждало от меня объяснений. Только точности.

Это было единственное место, где одного этого хватало.

Ближе к вечеру, когда свет за окном начал сереть по-настоящему, а не притворяться, Брин отложил свою работу и заговорил — редкий случай, когда он начинал разговор первым, а не отвечал на чужой.

— Совет через две недели, — сказал он, не глядя на меня, будто сообщал о погоде. — Хальвар выставляет голос своего дома.

Я кивнул, хотя он и не мог этого видеть — привычка, оставшаяся от жизни, где кивки предназначались для собеседников, а не для деревянных заготовок.

— Знаю.

— Бродир тоже выставляет.

Это я тоже знал. Весь посёлок знал — так, как знают о погоде за неделю до шторма: ещё не гроза, но уже тяжесть в воздухе, которую замечает даже тот, кто не смотрит специально на небо. Я не ответил, и Брин, кажется, не ждал ответа — просто сказал вслух то, что до этого момента существовало только в виде общего фона, чтобы я знал: это не секрет, и притворяться, что я не в курсе, здесь незачем.

— Отец справится, — сказал я в итоге, потому что молчание после такой фразы прозвучало бы хуже любых слов.

— Знаю, что справится, — сказал Брин и вернулся к доскам. — Просто чтобы ты знал, что я знаю, что ты знаешь.

Это было настолько по-гномы нелепо построено, что я почти рассмеялся — почти, потому что чувство, спрятанное за нелепой фразой, было слишком простым и слишком настоящим, чтобы над ним смеяться. Он просто сказал: я вижу, что происходит, и я на твоей стороне, — только сделал это единственным способом, каким умел, не потратив ни одного слова, годного на нежность впрямую.

Я взял метлу и начал сметать стружку — работа, не требующая ни ремесла, ни рук ремесленника, только рук вообще, — и подумал, в который раз, что дерево действительно не любит, когда его торопят.

Жаль, что не всё в мире устроено по тем же правилам.

Глава 2. Дом

Дом пах дымом и вяленой треской ещё с порога — запах настолько привычный, что я замечал его только в те редкие вечера, когда он почему-то отсутствовал. Сегодня он был на месте, а значит, и всё остальное, скорее всего, тоже.

— Наконец-то, — сказала Хельга, не поднимая головы от ножа, которым правила у очага. — Брин совсем заездил тебя, или ты сам не торопился?

— Второе, — сказал я, вешая куртку у двери. — У сегодняшнего дня был киль-блок Хравна и один сундук, одержимый духом плохой просушки.

— Опять сундук? — Мать выглянула из-за стола, где раскладывала миски, и в её голосе была та особая смесь усталости и веселья, с которой в этом доме обычно обсуждали суеверия соседей. — Третий за месяц?

— Третий. Брин пообещал Ольгерду табличку про духов и влажность.

— Небеса, — сказала мать и покачала головой, но улыбка уже тронула её лицо — ту самую, которую я не научился толком описывать даже мысленно, потому что она никогда не была направлена только на веселье или только на нежность, а всегда на то и другое сразу, в пропорции, которую я так и не смог вычислить за все эти годы.

Отец сидел у очага, чинил порванный шкот — работа, для которой руки капитана были нужны не меньше, чем руки для штурвала, — и поднял глаза только когда я сел напротив.

— Как мастерская? — спросил он.

— Стоит на месте. Ремонта не требует.

— Это я и хотел услышать. — Он вернулся к узлу, но пальцы на секунду замедлились — жест настолько мелкий, что его можно было бы не заметить, если бы я не проверял материалы на слух и на ошупь достаточно долго, чтобы разучиться не замечать мелочей. — Совет через две недели.

— Знаю. Брин сказал.

— Брин всем говорит, — фыркнула Хельга. — У него манера сообщать факты так, будто вручает диагноз.

— У него это семейное, — сказал я, и она посмотрела на меня искоса, не совсем понимая, шучу я про гномов вообще или про что-то конкретное, а я и сам не был до конца уверен, и это было, пожалуй, к лучшему.

Ужин в нашем доме никогда не проходил в тишине — не потому, что кто-то из нас особенно любил разговаривать, а потому что мать не признавала тишину за столом законной. "Тишина за ужином — это тишина, которую нечем занять, — говорила она. — А в этом доме всегда есть чем." Обычно это означало сагу — не всегда длинную, иногда всего пару минут между двумя переменами блюд, — но всегда такую, после которой хотелось спросить "а что дальше", даже если дальше был всего лишь вопрос, кто уберёт посуду.

Сегодня она рассказывала про Хравна Одноглазого — не нашего соседа с киль-блоком, а того, другого, из времён настолько давних, что даже в саге не называлось, сколько поколений назад это было, — который поспорил с морем, что доплывёт до Ледяной бездны и вернётся, прежде чем сядет солнце.

— И он доплыл, — говорила мать, понижая голос ровно настолько, чтобы Хельга, уже слышавшая эту историю раз двадцать, всё равно наклонилась ближе. — Доплыл до самого края, где лёд не тает даже летом. Но там, у кромки, море спросило его: а что ты отдашь за то, чтобы я тебя отпустило?

— И он отдал глаз, — сказала Хельга, не удержавшись.

— Он отдал глаз, — согласилась мать, ничуть не обидевшись на подсказку — в этом доме досказывать за рассказчиком было не преступлением, а формой участия. — Потому что море

не спрашивает дважды, и медлить с ответом — то же самое, что ответить "нет". А кто отвечает морю "нет", тот его больше не увидит вовсе.

Я слушал вполуха и одновременно — очень внимательно, если такое вообще возможно, потому что в сагах матери всегда было два слоя: тот, что она рассказывала, и тот, что я слышал, — про цену, про сделки, про то, что мир вообще устроен на обменах, где ничего не даётся бесплатно, а тому, кто медлит, не даётся вовсе ничего. В прошлой жизни я бы назвал это условиями контракта. Здесь это называлось сагой, и, кажется, оба названия были одинаково честными.

За обменом мисками, где-то между рыбой и хлебом, Хельга упомянула, что у Торкеля с северного края — того самого, чей дом стоял через два двора от нашего, — младшая дочь через месяц проходит ритуал.

Разговор за столом не остановился. Никто не замолчал специально, не переглянулся демонстративно — и всё же в комнате будто на полтакта сбился общий ритм, ровно настолько, чтобы я это заметил, а заметив, не смог не отметить, что заметил.

— Ей сколько, шесть? — спросила мать спокойно, без единой нотки, за которую можно было бы зацепиться.

— Пять, — сказала Хельга. — Торкель говорит, рано, но жена настояла — хочет, чтобы успели узнать до зимы.

— Разумно, — сказал отец, не отрываясь от узла. — Зима — плохое время для неопределённости.

Я потёр запястье — не нарочно, просто рука сама нашла привычное место, — и, кажется, именно в этот момент отец наконец поднял взгляд от шкота, но не на меня, а на мать, и между ними произошёл один из тех безмолвных разговоров, что длятся долю секунды и решают, в какую сторону повернёт вечер.

— Твой ритуал я помню лучше своего собственного плавания в тот год, — сказала мать вдруг, глядя прямо на меня, без предисловий и без той осторожности, с которой обычно подходят к теме издалека, будто бояться её спугнуть. — Ты был на удивление спокоен. Все вокруг нервничали больше тебя.

— Не помню, чтобы у меня был выбор, — сказал я. — В два года эмоциональная палитра довольно бедная.

— Неправда, — возразила Хельга с набитым ртом. — Я в два года орала так, что дозорные на другом конце фьорда решили, что тревога.

— Ты вообще была громким ребёнком, — заметил отец сухо, и уголок его рта дрогнул точно так же, как утром у Брина, — общая, видимо, черта всех, кто разрешает себе улыбку только по особому случаю.

Мать не отвела взгляда.

— Старейшина тогда сказал, что редко видел ребёнка, который бы держался так тихо перед испытанием. — Она произнесла это не как утешение — в её голосе не было той приторности, которую я на дух не переносил в разговорах о собственной аномалии, — а как факт, который просто имел место быть и заслуживал упоминания наравне с прочими. — Никто не знал тогда, чем это обернётся. Но спокойствие — не малая вещь, даже когда результат оказывается другим, чем ждали.

Я не нашёлся, что на это ответить сразу, и, кажется, впервые за долгое время это молчание не показалось мне неловким. Шрам под рукавом на секунду будто потеплел — не физически, конечно, тело так не работает, — но было в этом ощущении что-то от того, как теплеет дерево под ладонью, когда наконец находишь верный изгиб волокна.

— Тогда я хотя бы был предсказуем, — сказал я наконец. — Один результат на все два года экспериментов. Отличная повторяемость.

— Ужасная выборка, — фыркнула Хельга. — Один участник, ни одной контрольной группы.

Она не знала, что за словом "контрольная группа" для меня стоит нечто большее, чем оборот речи, — но она была права по существу, и я, кажется, единственный в этом доме, кто мог оценить, насколько именно.

Позже, когда посуда была убрана, а отец вернулся к шкоту при свете масляной лампы, мать задержала меня у двери — не за руку, просто взглядом, которым в этом доме умели останавливать не хуже, чем словами.

— Совет пройдёт как пройдёт, — сказала она тихо, так, чтобы не долетало до остальных. — Что бы ни случилось — это не твоя вина и не твоя ноша. Бродир ищет повод, а не причину. Он нашёл бы её и без тебя.

— Знаю, — сказал я, и это было почти правдой.

Она посмотрела на меня ещё секунду — тем взглядом, которым, кажется, умела читать чуть больше, чем я успевал сказать вслух, — и просто кивнула, отпуская меня спать без дальнейших слов, потому что некоторые вещи в этом доме не нуждались в повторении, чтобы быть услышанными.

Я лежал в темноте долго, слушая, как скрипят на ветру доски крыши — тем самым скрипом, за который где-то в посёлке наверняка кто-то уже готов был обвинить духов, — и думал о том, что мать права далеко не во всём, что говорит на ужин ради разговора.

Но в главном она, кажется, не ошибалась никогда.

Глава 3. Серый парус

Есть вещи, которые начинаются задолго до того, как их можно назвать по имени.

В прошлой жизни я видел это на испытаниях: конструкция стоит, показатели в допуске, все подписи собраны, — а потом кто-нибудь замечает на сварном шве волосяную трещину, которой вчера не было, и с этой секунды всё меняется, хотя формально ещё ничего не произошло. Мост не рухнул. Мост даже не покачнулся. Просто теперь все знают, что он однажды рухнет, если ничего не делать, — и весь оставшийся спор идёт уже не о том, есть ли трещина, а о том, кто виноват и кто платит.

Две недели до Совета Фьордов были именно такой трещиной. Ещё ничего не случилось. Уже всё началось.

Первым это заметил, как ни странно, не я, а причал.

Причал у нас — не просто место, где стоят лодки. Это главная площадь посёлка, суд, биржа и сплетня в одном лице; там решается всё, что не решается в длинном доме собраний, а не решается там куда больше, чем принято признавать вслух. Кто с кем разговаривает у причала, стоя к остальным спиной, и кто в этот момент старательно смотрит в другую сторону — по этому можно читать расклад сил не хуже, чем по гербам на парусах.

Я пришёл туда с утра — Хравн наконец собрался забрать киль-блок, и тащить его вдвоём было проще, чем ждать, пока он найдёт себе помощника, — и первое, что заметил: люди Дома Серого Паруса стояли не там, где обычно.

Обычно они держались у северного края, ближе к своим сараям. Сегодня трое из них стояли у центральных сходней — того самого места, где швартовались лодки нашего дома, — и разговаривали с Торкелем. Не ссорились. Разговаривали. Долго, обстоятельно, с той особой доброжелательностью, которую пускают в ход, когда хотят, чтобы разговор увидели.

— Давно они так? — спросил я у Хравна, перехватывая блок поудобнее.

— Третий день. — Хравн был человеком без хитростей, и это делало его лучшим источником сведений в посёлке — он не отбирал, что сказать, а говорил всё подряд. — Позавчера с Ольгердом. Вчера с братьями Скегги. Сегодня вот с Торкелем.

— Разговаривают.

— Разговаривают, — согласился Хравн и сплюнул в воду. — Про рыбу, наверное.

— Наверное.

Мы оба знали, что не про рыбу. Но говорить об этом вслух у причала было бы такой же ошибкой, как обсуждать трещину в шве, стоя посреди моста: правда никуда не денется, а вот вес момента изменится, и не в лучшую сторону.

Я посмотрел на воду. Отлив обнажил у свай тёмную полосу — там, где дерево постоянно то мокрое, то сухое, и потому гниёт быстрее всего. Мы с Брином меняли эти сваи прошлой осенью. Простоят ещё лет двенадцать, если никто не станет швартоваться поперёк, наваливаясь всем корпусом.

Кто-то как раз швартовался поперёк — лодка Дома Серого Паруса, аккуратно занявшая место, которое ей не принадлежало.

Мелочь. Совершенно ничего не значащая мелочь.

Именно так это и работает.

Свенна я встретил на обратном пути, у сушильных навесов, и это тоже была случайность ровно настолько, насколько случайны все встречи в посёлке на четыреста дворов.

Он был не один — с ним двое ровесников, оба из хороших домов, оба с открытыми воротами, оба в том возрасте, когда чужое унижение всё ещё кажется способом что-то доказать. Сам Свенн стоял чуть впереди, как всегда: не потому, что нарочно вставал первым, а потому

что его туда ставили, естественно и без обсуждения, как ставят на нос лодки лучшего впередсмотрящего.

Он был, если говорить честно, хорош. Врата открылись рано, обе первые ступени, и третьи — уже к пятнадцати, что даже по меркам сильных домов считалось редкой удачей. Топор он носил не для вида, а потому что действительно умел им работать, и в прошлом году, когда искажённая тварь вышла на берег южнее посёлка, он был среди тех, кто её встретил, и не победил.

За это ему прощали характер. Я бы, наверное, тоже прощал, если бы характер не касался меня напрямую.

— Стейн, — сказал он, увидев меня. — Хравнов блок тащишь?

— Тащу.

— Хорошая работа, говорят. — Он сказал это без издёвки, и в этом была вся сложность разговоров со Свенном: он никогда не начинал с оскорбления. Он начинал с правды. — Брин тебя хвалит. Он вообще никого не хвалит.

— Брин меня не хвалит, — сказал я. — Брин меня не переделывает. Это разные вещи.

Один из его спутников фыркнул. Свенн — нет. Он посмотрел на блок в моих руках, потом на меня, и на лице у него появилось то выражение, которое я про себя называл «недоумением при виде неправильных данных»: не злость, не превосходство даже, а искреннее непонимание человека, у которого не сходится расчёт.

— Вот это я и не могу понять, — сказал он. — Руки у тебя есть. Голова есть. Ты знаешь про дерево больше, чем половина корабельщиков в трёх фьордах. Как так вышло, что при этом ты...

Он не договорил. Не из деликатности — просто не нашёл слова, которое одновременно было бы точным и не звучало бы как приговор. Такого слова в клановом языке не существовало. Для того, кто провалил ритуал совсем, было слово: «пустой». Для того, кто прошёл его нормально, слов было множество. Для меня — не было.

— Сам об этом думаю, — сказал я. — Регулярно. Пока без результата.

— Может, плохо думаешь.

— Может. — Я перехватил блок. — Или это не тот вопрос, который решается думанием. Такое тоже бывает.

— Всё решается, — сказал Свенн, и вот здесь в его голосе наконец появилось то самое, ради чего он и завёл разговор: не презрение, а убеждённость. Такая крепкая, что об неё можно было бы швартоваться. — Всё решается, если ты не жалеешь себя. Я по три часа в день на льду стоял, когда третьи открывал. По три часа, Стейн. В прошлом году отморозил два пальца — и открыл. Не потому что талант. Потому что не ныл.

— Поздравляю, — сказал я совершенно искренне, потому что это действительно было достойно поздравления.

Он посмотрел на меня подозрительно — искал издёвку, которой не было, — и не нашёл, и от этого, кажется, разозлился сильнее, чем если бы нашёл.

— Ты понимаешь, что о твоём отце говорят? — сказал он тише. — Перед Советом?

— Понимаю.

— И тебе всё равно?

— Мне не всё равно, — сказал я. — Просто моё «не всё равно» ничего не меняет. Я пробовал. Сто сорок с чем-то раз. Я считал.

Он моргнул. Кажется, впервые за весь разговор я сказал что-то, чего он не ожидал, — и это выбило его сильнее любой дерзости.

— Сколько?

— Сто сорок четыре. На прошлой неделе. — Я пожал плечами, насколько это возможно с килевым блоком на плече. — Ты стоял на льду по три часа. Я уважаю. Но у меня нет льда, Свенн. У меня вообще ничего нет. Я стучу в дверь, которой нет в стене.

Повисло молчание — то неудобное молчание, которое возникает, когда человек соби-
рался говорить с одним собеседником, а обнаружил другого.

— Всё равно это не оправдание, — сказал он наконец, но уже без прежней уверенности, и, развернувшись, пошёл дальше.

Его спутники двинулись следом. Один из них, проходя мимо, всё-таки бросил через плечо то самое слово, которого не нашёл Свенн, — простое, грубое и не особо изобретательное.

Я не обернулся. Дерево на плече было тяжелее, чем слова, и это, пожалуй, единственная причина, по которой я вообще смог удержать равновесие в тот момент.

К вечеру стало ясно, что дело не в трёх разговорах у причала.

Отец пришёл домой позже обычного, и по тому, как он снял куртку — не бросил на крюк, а повесил, аккуратно расправив, — я понял, что день был плохой. Он всегда делал что-нибудь подчёркнуто аккуратно, когда злился: чинил, расправлял, укладывал. Как будто наводя поря-
док в мелочах, можно навести его во всём остальном.

— Бродир предложил переделить дозоры, — сказал он, садясь.

Мать поставила перед ним миску, не спрашивая. Хельга подняла голову.

— Сейчас? За две недели до Совета?

— Именно сейчас. — Отец потёр лицо ладонью. — И, что хуже, предложил разумно. Вот в чём беда. Он не сказал «дайте мне больше людей». Он сказал: «Северная линия перегружена, у Хальвара три поста и две лодки на промысле, люди не спят вторую неделю. Давайте перерас-
пределим». Половина совета кивала.

— А ты?

— А я сказал, что справлюсь. — Он усмехнулся невесело. — И знаешь, как это выглядело со стороны? Как будто я цепляюсь за посты, потому что не хочу делиться влиянием перед Советом. Он поставил меня так, что любой мой ответ работает на него. Соглашусь — значит, признал, что не тяну. Откажусь — значит, ставлю гордость выше безопасности людей.

Я слушал и думал, что это очень хорошая конструкция. Ровная, продуманная, с распре-
делённой нагрузкой — такая, где давление в одной точке передаётся сразу на несколько опор, и невозможно определить, какая именно не выдержит первой.

Такие вещи не собирают за две недели. Их собирают годами.

— Из-за чего это вообще началось? — спросил я. — Не сейчас. Вообще.

Отец посмотрел на меня. Потом на мать. Потом опять на меня, и я понял, что этот вопрос ждал ответа дольше, чем я ждал его задать.

— Из-за угодий у Козьего мыса, — сказал он. — Тридцать один год назад.

— Тридцать один год, — повторил я.

— Мне было девятнадцать. Ему двадцать четыре. — Отец говорил ровно, без всякого выражения, и от этого история звучала хуже, чем если бы он говорил с обидой. — Спор был пустяковый. Два дома, одно место лова, старая договорённость, которую каждый понимал в свою пользу. Старейшины решили в нашу. Не потому что мы были правы — сейчас я думаю, что правда была где-то посередине, — а потому что мой отец умел говорить убедительнее, чем его отец. Вот и вся причина.

— И он не забыл.

— Он не забыл. — Отец наконец взялся за ложку. — Я забыл. Лет через пять перестал вообще об этом думать. А он — нет. И вот в этом, Стейн, вся разница между нами, и я узнал об этом слишком поздно.

Он поел молча какое-то время.

— Я тридцать лет считал, что у меня с Бродиром старая холодная неприязнь, — сказал он потом. — Оказалось, у Бродира со мной всё это время была война. Просто он один знал, что она идёт.

Сам Бродир попался мне на глаза только через день — у длинного дома, куда я относил починенную дверную петлю.

Я видел его сотни раз до этого. Он был частью пейзажа: высокий, сухой, с той прямой спиной, какая бывает у людей, которые в молодости много гребли и потом всю жизнь этим гордятся. Седой уже полностью, хотя ему было чуть за пятьдесят пять — по клановым меркам, с открытыми вратами, ещё не старость, а самая середина.

Он стоял с двумя старейшинами и что-то говорил — негромко, спокойно, — и оба слушали внимательно. Он вообще умел, чтобы его слушали. Не повышал голос, не размахивал руками; говорил так, будто просто произносит вслух то, о чём все и так уже подумали, и остаётся только согласиться.

Увидев меня, он прервался — и поздоровался.

Именно это и было хуже всего.

— Стейн, — сказал он, и в голосе не было ни капли того, чего я ждал. — Петля для восточной двери?

— Она самая.

— Хорошо. — Он кивнул, будто одобряя не меня, а сам факт, что дверь наконец починят. — Скрипела с прошлой зимы. Я трижды поднимал вопрос. Отвечали: «руки не доходят». — Он чуть повёл плечом. — Руки не доходят до многого. В этом, к сожалению, и беда.

Один из старейшин что-то одобрительно хмыкнул.

— Передай Брину благодарность, — добавил Бродир. — От меня лично. Он делает работу, которую не делает никто.

И всё. Никакого второго дна в интонации, никакого взгляда исподлобья. Обычная вежливость уважаемого человека, обращённая к подмастерью, который принёс починенную петлю.

Я передал петлю кузнецу, вышел на воздух и минуту стоял, разбираясь в том, что именно меня сейчас царапнуло.

Потом понял.

Он ни разу не посмотрел на моё запястье. Все смотрят. Не нарочно — просто взгляд соскальзывает, задерживается на четверть секунды дольше, чем нужно, и человек сам этого не замечает. За шестнадцать лет я научился считывать эту четверть секунды безошибочно, как отсчитывают такт на слух.

Бродир не посмотрел. Ни разу. И не потому, что ему было всё равно.

А потому, что он уже всё, что нужно, про моё запястье знал, — и в разглядывании больше не нуждался.

Вот тогда, стоя у длинного дома с пустыми руками, я впервые почувствовал что-то похожее на настоящую тревогу.

Не за себя. За отца.

Потому что человек, который тридцать один год помнит спор об угодьях, — это одно. А человек, который за тридцать один год научился при этом здороваться первым, — совсем другое.

С таким не спорят на Совете.

С таким уже проиграли, пока он ещё здоровается.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.